

## ЛЮСЯ В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ, ИЛИ РУССКИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Русский человек все делает из лучших побуждений. Благие намерения наших соотечественников — какая-то национальная катастрофа. Особенно ярко это бедствие проявляется за границей. Как-то мне довелось побывать в чудной, волшебной стране Дании, где живет моя приятельница Люся — эмигрантка, что называется, со стажем. До своего путешествия на родину Андерсена я даже не предполагал, как велик потенциал *благонамеренности* у моей старой знакомой (старой, в смысле, не по возрасту, а по годам взаимного общения в России). Пригласив меня в гости на свою вторую родину, Люся задумала — разумеется, из *самых лучших* побуждений — сделать мое пребывание в Дании незабываемой сказкой. Послушайте, что из этой затеи вышло.

За неделю до прилета в Копенгаген я получил от Люси шесть электронных писем — по четыре страницы каждое. В них она снова и снова напоминала, что после прохождения таможенного досмотра мне нужно прямо в аэропорту купить железнодорожный билет, отыскать нужную станцию и доехать до города Нюборга, а уж там она будет меня ждать с мужем на авто. Люся подробно описала каждый поворот в здании терминала, любовно упомянула каждую стрелку на полу и стенах, припомнила форму, размер и цвет всех вывесок, с которыми мне предстояло столкнуться на пути к заветному поезду, и даже подсчитала, сколько туалетов придется миновать, шествуя по коридорам аэропорта. Наконец, написала и попросила хорошенько выучить несколько английских фраз, чтобы суметь достойно объясниться с кассиром. Вероятно, Люся решила, что от страха потеряться в чужой стране я могу начисто забыть язык, который уже немало лет преподаю.

Основательно подкованный в топографических тонкостях огромного терминала, я вылез из самолета, держа наготове Люсины письма, чтобы во время блужданий пользоваться ими как картами. Хочу похвастаться: поиски кассы заняли у меня ровно семь минут, даже сверка с Люськиными инструкциями не понадобилась. И слава богу, потому что если б я начал сверяться, наверняка прошлялся бы еще час: детально описанная ею топография представляла собой точное зеркальное отражение того, как все было устроено на самом деле. Там, где Люся писала «иди налево», следовало тут же повернуть направо, и все остальное в том же духе. Через пятнадцать минут после приземления я уже купил билет до Нюборга, сумев договориться с кассиром на зачаточном датском наречии (зря я его целых два месяца учил, что ли?), а еще четыре минуты спустя, удобно устроившись в мягком экспрессе, сделал Люсе звонок, чтобы сообщить ей время прибытия.

На перроне вокзала в Ньюборге — одном из древнейших городов страны — я заметил две одинокие, озябшие на зимнем ветру фигуры: то были Люся и Олаф Йенсен, ее аутентичный датский супруг. Люся бросилась ко мне с самым встречаемым выражением лица и вместо приветствия воскликнула:

— Я была уверена, что ты что-то напутал и сел не в тот поезд! Ты *не мог* так быстро добраться до станции!

Пришлось в шутку напомнить ей, что я как-никак нахожусь в *сказочной* стране, где время и пространство меняют свои характеристики, подчиняясь желанию персонажа.

— Ну а теперь — наслаждайся! — велела принимающая сторона, убедившись в реальности моего прибытия и размещая меня на заднем сидении автомобиля. — Смотри по обеим сторонам, чтобы ничего не упустить из вида.

Легко сказать: ничего не упустить. Люся мчала машину мимо громадных полей, крошечных городов и снова мимо полей на скорости сто восемьдесят километров в час, так что я едва успевал отслеживать местность, да и то лишь в художественно-обобщенном изображении. Люся, успевшая к тому времени изучить всех залетных фазанов и мигрировавших зайцев в каждой датской провинции, поминутно давала мне ценные наводки на местные достопримечательности.

— Смотри, смотри! — кричала она, темпераментно тыча пальцем в какую-то невероятную даль. — Видишь, лань притаилась вон за тем деревом! Не видишь? Да куда же ты смотришь?! В другой стороне! Черт, уже проехали!

Я лишь виновато моргал, потому что даже «того дерева» не видел там, где дальнзоркая Люся на всем скаку умудрилась разглядеть свою зверюгу.

Основательно уставший от первых впечатлений и Люськиных указаний, я переступил порог маленького двухэтажного дома в местечке Свенбург (это название я про себя перевел как «Свинячий городок»). Совершив экскурсию по семи с небольшим комнатам очаровательного жилья Йенсенов, я с радостью принял приглашение хозяев откусать с дороги. Было время второго завтрака. Люся наскоро приготовила традиционные бутерброды с ветчиной и чем-то еще, а Олаф достал из кладовых запасы пиво и бутылку шнапса: без них трапеза в Дании считается неполноценной (так же как и без канделябра с зажженными свечами на обеденном столе — в любое время суток). Оголодав с дороги, я элегантно взял рукой бутерброд и уже было запихал его в рот, как вдруг наткнулся на укоризненный взгляд недавно натурализованной датчанки.

— Ты же в Дании, — с наигранным дружелюбием, не соответствовавшим выражению глаз, сказала она — негромко и по-русски, чтобы Олаф, ни слова не понимавший по-нашему, ничего не смог понять, — здесь бутерброды едят ножом и вилкой. Давай, дружочек, привыкай, раз уж ты сюда попал.

В ту минуту я еще не понял, что на самом деле *попал*, поэтому весело начал орудовать столовыми приборами и попытался съесть бутерброд противоестественным способом. Оказалось, это не так уж и сложно — по крайней мере, не труднее, чем надевать штаны через голову. Между делом я оживленно задавал Олафу вопросы по поводу сложностей датского произношения, культуры здешних жителей и прочей дребедени: как истинный русский, я честно старался создать за столом самую непринужденную обстановку. Можно сказать, я преуспел в этом, пока снова не наткнулся на Люськин взгляд — темный, как летняя ночь, и мечущий яростные молнии.

— Слушай, оставь его в покое, — прошипела она, на этот раз без всяких экивоков. — Ты же видишь: пока Олаф тебе отвечает, он ничего не ест! В Дании считается неприличным оставлять вопрос без ответа, а жевать во время разговора он не умеет. Сейчас все остынет, и Йенсен останется голодным: он не приучен есть холодную пищу. Поговорите потом, у вас будет куча времени.

Но «потом» мне почему-то не хотелось разговаривать: я как раз почувствовал себя невероятно усталым и удалился в свою крошечную, но очень уютную спальню, чтобы вздремнуть с дороги. Освеженный послеобеденным сном, я с радостью поддержал Люсино предложение пройтись по улочкам средневекового городка (для сведения: города в Дании все средневековые, других просто не существует). Перед выходом я решил побриться и в результате прослушал лекцию хозяйки о том, как следует пользоваться водой во время пребывания в Европе. Мне эмоционально пояснили, что литр холодной воды здесь стоит аж пятьдесят евроцентов, поэтому ее нужно изо всех сил экономить. Согласно Люсиной версии, процедура принятия душа в Датском королевстве следующая: ты открываешь кран так, чтобы душевая головка лениво на тебя помочилась — иначе я выразиться не могу — бесшумной, хилой струйкой, потом добросовестно завинчиваешь его обратно. В это время живо намыливаешь туловище и все остальные принадлежности, пока капли драгоценной влаги не успели на тебе высохнуть. Затем снова подставляешь тушку под унылую струю и умудряешься смыть пену так, чтобы другие не смеялись, глядя на тебя.

Я пообещал неукоснительно следовать этой инструкции и зашел в ванную, не преминув стукнуться головой о слишком низкий косяк: главный архитектор города, построивший этот дом более ста лет назад, явно делал двери в расчете на гномиков. Я спокойно брился над раковиной, созерцая чудесное синее небо сквозь окно в покато́й крыше, когда в дверь отчаянно затарабанили.

— Рома, ты голый? — прокричала снаружи Люся.

— Нет, — флегматично отозвался я, не прекращая процесс бритья. — А что?

— Можно я войду? — тем же криком спросила моя дорогая подруга.

«Опачки, — подумал я, — сейчас, когда Олаф неосмотрительно заснул, состоится адюльтер по-скандинавски», а вслух сказал, что, конечно же, можно.

Люся ворвалась в ванную подобно тропическому тайфуну. На лице у нее были написаны такие выразительные эмоции, что понять их смысл не смог бы разве что последний кретин: девушка была вне себя от возмущения.

— Ты же воду *литрами* льешь! — проорала она, тыча пальцем в открытый кран. — Я ведь просила тебя экономить! Немедленно закрой!

— Без проблем, — так же флегматично согласился я, еще не проникшись тяжестью совершенного преступления. — Извини, я отвлекся видом из окна.

Когда мы вышли на улицу, моя датская принцесса осторожно спросила:

— Надеюсь, ты не обижаешься, что я по-дружески делаю тебе замечания? Я хочу, чтобы ты почувствовал, как живут датчане, быстрее проникся здешней культурой и не попал впросак.

— Разумеется, не обижаюсь, я же знаю, что ты хочешь *как лучше*, — со всей доступной мне искренностью поспешил я заверить Люсю. — Я с радостью приму все твои советы. Подскажи, пожалуйста, где можно подешевле купить приличные джинсы.

— Радуйся, дружище: сейчас огромные скидки на одежду! — торжествующе воскликнула Люся. Она схватила меня за руку и потащила вниз по узенькой улочке, мощенной элегантным булыжником. — Что же касается качества, то *неприличных* вещей здесь просто не бывает. Пойдем в мой любимый «Jack and Jones».

По дороге в магазин Люся с упоением рассказывала о том, какой поразительно дружелюбный народ датчане.

— Ты представляешь, Ромка, — восклицала она, — на улице все друг другу улыбаются, кивают головой и говорят «*Hi!*». Да ты и сам сейчас увидишь!

После такого прозрачного намека я напрягся как струна и послушно изготовился демонстрировать свое природное дружелюбие при столкновении с аборигенами. Завидев невдалеке первую жертву, я приподнял уголки губ (хорошо хоть не ощерился во всю пасть) и стал призывно искать с ней контакта глазами. Жертва тихонько

прошмыгнула справа от нас, низко наклонив голову. Мне показалось, она изо всех сил старается избежать моего пристального взгляда. Приветствие, готовое сорваться с губ, застряло у меня между языком и верхними зубами. Дальнейшие потуги оказались столь же безуспешными: датчане упрямо отворачивались и делали вид, что в упор не замечают моих претензий на всеобщее братание. Я не мог поставить под сомнение Люсин авторитет и решил, что это какие-то *неправильные* датчане.

Плонув на свои неудачные попытки расположить к себе жителей Свенбурга, я удивленно поинтересовался у Люси, что за чудо предстало передо мной. В витрине одного из магазинов торгового района находилась дюжина манекенов обоего пола — один другого краше: несколько девочек и мальчиков стояли откровенно голые, а остальные были наряжены в футболки при полном отсутствии нижней части костюма. Люся пояснила, что в том отделе, где манекены в футболках, сейчас можно купить вещи с пятидесятипроцентной скидкой, а там, где они торчат в витрине без признаков одежды, совершенно за бесценок распродается все барахло, потому что через несколько дней этот отдел вообще закрывается. Туда-то я с энтузиазмом и направил стопы.

Выбрав из развалов одежды несколько пар полудранных джинсов — как раз на свой невзыскательный вкус, я укрылся в примерочной, чтобы обстоятельно, без суеты, повертеться перед зеркалом. Не тут-то было, обстоятельно не получилось: Люся, как хищная птица, поминутно заглядывала ко мне через занавес и нервно вопрошала:

— *Еще* не все?! Ну что ты там возишься? Господи, как же медленно! Живешь в своей сонной провинции, время вообще не ценишь — в Дании люди все делают на бегу, у них каждая минута рассчитана.

Конечно, у меня нашлась бы тысяча аргументов, чтобы ей возразить. Я мог сказать, что в Дании все-таки не живу, а отдых отдыхаю, поэтому имею право позволить себе некоторую медлительность — по крайней мере, в магазине одежды. И что сами датчане производили впечатление весьма неторопливых особ. И что, наконец, я иностранец, имеющий за границей право немного почудить: умного человека это не обидит, ну а если датский подданный дурак, то что с него возьмешь? Конечно, я мог бы обнародовать все эти аргументы, но не стал. Наскоро выдернул из кучи одежды пару штанов, полюбившихся мне фасоном и ценой, и направился с Люськой к кассе.

Она мне строго-настрого запретила говорить в общественных местах по-русски: дескать, это крайне невежливо. На такой случай у меня для Люси был припасен сюрприз: я подошел к девушке-кассиру и стал общаться с ней на своем примитивном, далеком от совершенства датском наречии. Я был уверен, что разговаривать с жителями чужой страны на их родном языке более чем уместно и вежливо. И полагал, что тут даже Люся не могла мне ничего возразить. Она и не стала возражать, лишь сказала с безыскусной простотой:

— Слушай, заткнись, а? Слышать не могу твой датский язык — ужас какой-то! Говори лучше по-английски.

С таким вот безукоризненным тактом Люся Йенсен корректировала меня на каждом шагу. Вероятно, она сформировала у себя *благое намерение* сделать из меня цивилизованного человека — по крайней мере, пока я был в цивилизованной стране. А я, неблагодарный, постоянно делал какие-то промахи, и в моем воспитании выявлялись все новые пробелы. Люсе взгрустнулось, когда в родном городе Андерсена я отказался посетить его домик-музей: мне показалось неразумным платить бешеные деньги, чтобы ознакомиться с пыльной перепиской сказочника. Люся была ошарашена, когда при знакомстве с датской женщиной я не подал руку для пожатия. Люся удрученно замолчала, когда выяснилось, что за пять часов общения с ее здешними друзьями я не догадался поинтересоваться, кем они работают. Люся шумно возмутилась, когда, набив за ужином брюхо, я

сделал вежливую попытку отказаться от добавки, и силой заставила ее съесть. Люся потемнела лицом, когда во время обеда я сделал попытку поухаживать за своей соседкой и положить ей в тарелку кусочек мяса, — оказывается, у датчан это считается верхом непристойного поведения. А вот беспрерывно пускать газы за столом здесь считается особым шиком — слава Аллаху, хоть этого от меня не требовалось правилами здешнего этикета.

Проснувшись на четвертое утро в своей уютной датской спальне, я с тоской вспомнил, что мне здесь находиться еще *целую неделю*. Раньше подобные чувства в заграничном путешествии меня никогда не посещали. Не думаю, что это новое душевное томление называлось ностальгией.

Как-то вечером, сидя за рюмочкой шнапса на огромной вилле Йенсенов с видом на море, мы с Люськой затронули тему национальных особенностей.

— Знаешь, чудовище, — задумчиво сказала она, называя меня именем, каким обычно пользовалась в минуты величайшего расположения, — странный народ *эти русские*. Они здесь всегда зажимаются, глядят как-то испуганно — неужели не видят, что все вокруг доброжелательные и открытые. Да оно и понятно: впервые попадают в настоящую, *старую* цивилизацию. Все мои друзья, приезжая сюда, выглядели побитыми собачками. Я-то думала, мы будем шутить и веселиться, но приходилось постоянно выводить их из состояния культурного шока. А моя невестка вообще все время спала у себя в комнате и только и делала, что плакала — причем без всякого повода. Я не понимаю, как можно плакать посреди такой красоты. Думаю, она делала это мне назло. Бедный Олаф постоянно терялся от такого поведения — он к ним со всем сердцем, а выходила какая-то лажа. Вот и про тебя он спрашивает: почему, дескать, Рома так странно смотрит, будто все время чего-то боится. В России-то ты другой и взгляд у тебя живой, а здесь — какой-то затравленный.

Впрочем, это были мелочи жизни. Крохотные недоразумения искупались океаном заботы со стороны четы Йенсен, их искренним желанием сделать мой отдых райским блаженством. Меня водили по лабиринтообразным улочкам больших и маленьких городов, где все дышало древностью — благородный камень мостовых, теплое дерево домов, великолепный кирпич церковей и королевских замков, позеленевшая бронза статуй русалочек и одноногих солдатиков. Меня перевозили с одного сказочно красивого острова на другой — от прозрачного леса к суровому северному морю, от пустынной гавани к старинной крепости, от спокойного датского рестораничка на берегу залива к уютной немецкой пивной в центре города Фленсбурга.

Там, во Фленсбурге (в прошлом — датской королевской резиденции), я долго блуждал по улицам, припорошенным снегом, и случайно набрел на один внутренний дворик — крошечный и узкий, точь-в-точь как в сказке Ганса Христиана. Я наконец-то понял, каким образом Кай и Герда бегали друг к другу в гости, переходя с балкона одного дома на балкон другого по деревянному переходу: двухэтажные домики были расположены в полутора метрах друг от друга, их разделяла лишь узенькая, выложенная мелким камнем дорожка. Здесь было так неимоверно хорошо, здесь царил такое нереальное умиротворение, что я внезапно осознал: вот оно, то место, где мне бы хотелось поселиться и жить долго-долго. Люся, этот гений интерпретации, передавая мужу *мои* впечатления от зачарованного дворика, выдвинула *свою* версию: она сказала, что «Роману хотелось бы там умереть». Ох уж эта миссис Йенсен!

Пришло время собираться в обратный путь, и Люська сказала, что очень рассчитывает на мою помощь: она собиралась передать сыновьям в Хабаровске кое-какие вещи. Заручившись моим принципиальным согласием, она приволокла в комнату неизмеримое количество пакетов с одеждой, что тайком от мужа закупала

для российских родственников. Моего миниатюрного чемоданчика для такого количества шмоток оказалось явно маловато. Люся предложила мне выбросить его здесь и взять в вечное пользование «чудесный, совершенно новый и дорогой» чемодан, который она недавно приобрела на распродаже. Мне было жаль расставаться со своим матерчатым чемоданом — мобильным и необременительным в путешествии, но расстаться багажом я тоже не хотел. В конце концов я уступил Люсе и принял от нее подарок. Чемодан и в самом деле оказался хороший: современный, пластиковый, меняющийся размер в зависимости от содержимого. Его единственным недостатком было отсутствие выдвижной ручки, с помощью которой так удобно катить поклажу по улице. Впрочем, этот мелкий дефект Люся моментально устранила: она прицепила к крышке плотную разноцветную ленту, за которую я мог с тем же комфортом тянуть свой груз.

Все было удобно и даже весело, пока я передвигался с вещами «мелкими перебежками» — из комнаты до автомобиля Йенсенов, а на вокзале в Ньюборге — до грузового лифта, перрона и поезда. Веселье кончилось, когда мне пришлось совершать марш-броски по коридорам огромного Копенгагенского терминала, а по прибытии в Москву тащить своего неуклюжего «инвалида» до электрички, прыгать с ним в подземке с одной станции на другую, а потом упикивать в забитый трудовым народом столичный троллейбус. После этих перемещений рука у меня на несколько часов потеряла чувствительность. К слову сказать, на следующий день мне предстояло снова совершить путешествие до аэропорта. В Хабаровске, слава богу, меня встретил на машине один из Люсиных сыновей и благополучно доставил до дома с моим новым «безруким другом».

И вот наступила минута прощания. Люся грустно сказала, что они с мужем уже *накануне вечером* начали скучать по мне и что мое недолгое пребывание было для них просто бальзамом на душу. Супруги Йенсен взяли с меня слово, что скоро я снова приеду в их сказочную страну. Я бы с удовольствием, но, честное слово, не уверен, получится ли: красивому и неженатому молодому человеку очень, очень трудно получить Шенгенскую визу. Да вы и сами это знаете.

## УВИДЕТЬ ВЕНЕЦИЮ И...

*Диалог с Иосифом Бродским*

*Изучая лицо этого города семнадцать зим,  
я, наверно... сумею нарисовать портрет  
этого места если и не в четыре времени года,  
то в четыре времени дня.*

**Иосиф Бродский. *Fondamenta degli incurabili***

Некоторые путешествия случаются нежданно-негаданно. В один день вдруг рождается безумная идея куда-нибудь рвануть, а спустя несколько недель ты уже в приятном возбуждении пакуешь чемоданы и изумляешься тому, как чудесно все сложилось: появилась возможность улизнуть с работы, бросить семью и дом, к тому же на тебя свалились неожиданные деньги. Именно такой, «скоропостижной», оказалась моя поездка в Венецию в компании двух «лягушек-путешественниц» — Инны и Ольги.

Однажды, незадолго до Нового года, Инна как бы невзначай упомянула о ежегодном Венецианском карнавале, который обычно начинается в середине февраля. Выдержав паузу, она вкрадчиво спросила нас с Ольгой, не хотим ли мы сообразить на троих поездку в Италию и поучаствовать в праздничном веселье. Ольга для

приличия немного поломалась: все-таки середина года, неизвестно, отпустят ли с работы, — однако авантюрный дух пересилил доводы разума, и она легко позволила себя уговорить. У меня в тот момент пасьянс жизненных обстоятельств сходился как нельзя более удачно, поэтому я, не задумываясь, тоже объявил о своем участии в этом проекте.

Инна охотно взяла на себя роль организатора и обязала нас изучить путеводители и прочие материалы, чтобы решить, как мы будем целую неделю погружаться в культуру Венеции. Я не был в восторге от идеи заранее знакомиться с городом по книгам и фильмам, однако Инна была непреклонна и вручила мне эссе Бродского «Набережная неисцелимых»\*, велев проникнуться венецианским духом, который, мол, переполнял страницы книги.

Некий «дух» и вправду парил над витиеватым текстом Иосифа Бродского: он поднимался над строками ключьями тумана и меланхолично оседал в сознании, плотно окутывая его и пропитывая сырым воздухом венецианской зимы. Сквозь этот туман перед глазами у меня проступал образ Венеции — слегка потасканной, местами затертой до дыр соблазнительницы, что веками глядится в воду городских каналов и в ее зыбкой поверхности видит себя вечно юной, пышной красавицей.

Позже, прогуливаясь по узеньким венецианским улочкам, я неоднократно ловил себя на мысли, что у меня в памяти всплывают целые куски из этой книги. Я невольно сравнивал свое восприятие сегодняшней Венеции с опытом Бродского, бродившего по тем же местам несколькими десятилетиями ранее. И теперь, наяву окруженный каналами, храмами и дворцами Вечного города, я снова и снова принимался вести мысленный *диалог* с поэтом — он-то и лег в основу моего эссе.

\*\*\*

*«Стоило лишь оглянуться, чтобы увидеть stazione во всем ее прямоугольном блеске неона и городского шика, увидеть печатные буквы: VENEZIA. Но я не оглядывался. Небо было полно зимних звезд, как часто бывает в провинции. <...> Затем ниоткуда возникла широкая крытая баржа, помесь консервной банки и бутерброда, и глухо ткнулась в причал stazione. Горстка пассажиров выбежала на берег и устремилась мимо меня к станции».* \*\*

Из аэропорта наше трио прибыло на Stazione Venezia Santa Lucia, когда зимние сумерки предельно сгустились и до момента полного перехода природы в ночной режим оставалось не более получаса. Венецианский вокзал с его обширной площадью — единственное место в городе, связанное с материком пуповиной железнодорожного и автотранспортного моста. Здесь можно было в последний раз полюбоваться машинами и автобусами, чтобы затем полностью окунуться в островную жизнь, не предполагавшую наземный транспорт.

Поплутав в темноте по незнакомой местности, мы преодолели гигантский аркообразный виадук и вышли к набережной. На итальянский язык понятие «набережная» переводится словом *fondamenta*: в самом звучании его — фундаментальность, незыблемость, глубина, основа. Так как отныне нам предстояло повсюду передвигаться по воде, мы изучили на причале несложную схему движения *vaporetto* (венецианского

---

\*Автобиографическое эссе, написанное в 1989 году на английском языке и носящее итальянское название “*Fondamenta degli incurabili*” (более поздняя англ. версия названия — “*Watermark*”). — Здесь и далее примеч. автора.

\*\*Здесь и далее в тексте курсивом приведены цитаты из книги И. Бродского «Набережная неисцелимых» в переводе Г. Дашевского.

речного трамвайчика) и отправились в первое путешествие по городским каналам — в один из старейших районов города Каннареджо. Там располагалась гостиница «Три арки», где нам предложили поселиться. Оказалось, отель стоит прямо у причала, буквально в трех метрах от канала. Немудрено, что по утрам, после ночных приливов, высокое гостиничное крыльцо было мокрым, а набережную заливала вода, вышедшая из берегов. Венецианцев, носящих дорогую и элегантную обувь, это не напрягало, ну а нас и подавно. Наоборот, было весело ходить по деревянным настилам, которые сооружали специально на случай небольшого затопления.

*«...В зиме всегда есть что-то антарктическое... <...> ...Ты дрожишь и ложишься спать в шерстяных носках, так как здесь батареи соблюдают свои неритмичные циклы даже в отелях. Только алкоголь способен смягчить удар полярной молнии, пронзающей тело при первом шаге на мраморный пол... Если вечером ты работаешь, то зажигаешь целый парфенон свечей — не ради настроения или света, а из-за их иллюзорного тепла; или перемещаешься на кухню, зажигаешь плиту и закрываешь дверь. Все источает холод, особенно стены. Против окон не возражаешь, потому что знаешь, чего от них ждать. Они, в сущности, просто пропускают холод, в то время как стены его копят».*

С той поры, как Бродский впервые приехал в Венецию в середине семидесятых, здесь многое изменилось. Зимы перестали быть «антарктическими» — в феврале жители города вполне довольствуются легкими курточками и толстовками, а шапки носят исключительно из соображений стиля. Гостиницы, к счастью, больше не шокируют постояльцев холодowymi атаками со стороны пола и стен: по крайней мере, в нашем номере всегда было тепло и уютно. Алкоголь же если и потребляется, то не ради согревания замерзших конечностей, а в лучших дионисийских традициях — для увеселения духа.

Вечерами мы частенько выпивали в отеле, потому что в двух минутах от причала обнаружили неисчерпаемый винный погребок. Это был крошечный магазин, где дешевое, но качественное спиртное продавал добродушный старичок Альберто — потомственный виноторговец в пятом поколении. Позади длинного деревянного прилавка стоял ряд пузатых винных бочонков, и хозяин с удовольствием наполнял нам литровые бутылки белым *Prosecco*, красным *Amarone* или розовым шампанским *Valpolicella*. Попутно он рассказывал, как эти вина делают и где хранят. Протягивая бутылку, Альберто неизменно задерживал нас минут на десять, предлагая попробовать еще несколько сортов совершенно бесплатно. Он выставлял на прилавок одноразовые бокальчики и щедро плескал в них то одно, то другое вино из своего богатого ассортимента. Случалось, что уже после посещения этого чудесного магазинчика я был навеселе — впрочем, я всегда слыл никудышным пьяницей.

К Альберто мы обычно наведывались по утрам, по пути в город. Возвращаясь же в гостиницу после многочасовых блужданий, обязательно заглядывали в продуктовую лавку синьора Риккардо. Его магазин тоже стоял рядом с нами — ну что за чудо-район, все прелести жизни под рукой! Риккардо — высокий, худой мужчина с седеющей шевелюрой и ироничным взглядом за стеклами модных очков — больше походил на артиста, чем на продавца съестного. За прилавком он работал элегантно, как за дирижерским пультом: взмах руки — и ветчина с сыром горгонзола нарезаны тончайшими пластичками; еще взмах — и все виртуозно упаковано в фирменную бумагу. После фееричных шоу Риккардо мы даже представить не могли, что будем покупать продукты у другого продавца. К тому же в его магазине мы еще и здорово сэкономили на еде. Со здешними ценами вряд ли будешь каждый день обедать в ресторанах, поэтому у синьора Риккардо мы покупали мясо, сыр,



горячий хлеб, оливки, полусушеные помидоры в оливковом масле — словом, все необходимое для полноценного ужина в гостиничных условиях.

Нагруженные провиантом, мы возвращались в наш славный отель, где за стойкой сутки напролет сидел сухонький администратор в черном кардигане — медлительный, как черепаха. Мои спутницы почему-то думали, что его зовут Джузеппе (наверное, из-за сизого носа), но он оказался банальным Антонио. Рядом со стойкой был уголок с потертой мебелью, огороженный веревкой, как в музее. После долгих раздумий над смыслом этого ограждения мы решили, что кресла с позолоченными спинками и ножками — антиквариат. Кто знает, может, эту мебель сделали еще в XVI веке — Венецию не удивишь лохматой стариной!

Остальное убранство гостиницы было *как бы венецианским*. Мы жили в недавно построенном корпусе, и говорить о раритетах там не приходилось. Пластиковые окна, современная сантехника, «отмычки» номеров со штрих-кодом — везде признаки нового времени. Разве что люстра из муранского стекла, обои с венецианским узором да резная спинка кровати напоминали о традиционном убранстве.

Впрочем, я бы не хотел попасть в Венецию времен Иосифа Бродского и умирать от холода в грошóвом номере с полурассыпавшимися гобеленами и медными кранами девятнадцатого столетия, откуда никогда не течет горячая вода. Я вполне доволен недешевым комфортом нашего *стилизованного* века, — а на подлинники старины можно и в музее полюбоваться...

\*\*\*

*«...Это город для глаз; остальные чувства играют еле слышную вторую скрипку. Одного того, как оттенки и ритм местных фасадов заискивают перед изменчивой мастью и узором волн, хватит, чтобы ринуться за модным шарфом, галстуком и чем угодно... Ваш глаз как-то догадывается, что все эти вещи выкроены из той же ткани, что и виды снаружи, и не обращает внимания на свидетельство ярлыков. И в конечном счете глаз не так уж неправ, хотя бы потому, что здесь у всего общая цель — быть замеченным».*

Мне кажется, если бы Бродский хоть раз приехал в Венецию во время карнавала, он вряд ли написал бы, что *«зима — время года, бедное красками даже в Италии»*. Вот уж когда цветовая нагрузка на глаз достигает здесь наивысшей точки! Вот уж когда *«цель быть замеченным»* приобретает черты поголовной мании!

Во время карнавала люди готовы на всяческие ухищрения, лишь бы на них обратили внимание. Этому весьма способствует конкурс карнавальных костюмов — каждый раз он привязан к какой-то определенной теме. Например, в год нашего путешествия наряды участников представляли собой вариации на тему «Природа». Несомненно, фантазию людей стимулирует денежный приз, предусмотренный за лучший костюм, но многие и без этого охотно рядятся кто во что горазд и выходят на улицу, создавая необыкновенно праздничное настроение. Венеция и в обычное время — словно сцена с грандиозными декорациями, но, когда ее наводняют люди в масках и костюмах разных эпох, ощущение театральности усиливается в разы.

Открытие карнавала состоялось прямо на нашей *Fondamenta de Cannaregio*, и будь у нас в номере балкон, выходящий на набережную, мы могли бы наблюдать праздничную «движуху», не покидая отеля. Многие венецианцы так и поступали: причудливо разодетые, они целыми семьями выходили на балконы своих палаццо, облепивших канал с обеих сторон, и там всюду дурачились. Они вели оживленную словесную перепалку с ржаными персонажами, что расхаживали по набережной.

Тон для их «перебранок» задавали два веселых оркестра: они тоже состязались друг с другом, стоя на противоположных берегах. На нашей стороне музыку выдавали парни с духовыми инструментами, а бойкий диалог с ними вели барабанщики в потешных желтых балахонах.

Тех, кто в праздничной суматохе желал выделиться больше других, было видно издалека. Вне конкуренции находились два клоуна на ходулях — ростом едва ли не с палаццо. Одетые в белые сюртуки и километровые красные брюки, эти дяди Степы выдавали гигантские мыльные пузыри — на радость стайке принцесс в позолоченных коронах. На фоне клоунов почти пигмеем смотрелся один двухметровый человек — впрочем, он тоже нашел способ привлечь к себе внимание. Здоровяк вымазал лицо и шею черной краской, натянул облегающий черный костюм, а сверху напялил оранжевую юбочку в духе африканских охотников. Всем желающим он раздавал спелые бананы, протягивая их на острие копья.

Некоторые скромняги исподтишка хулиганили, удивляя народ какой-нибудь потешной выходкой. Один немолодой весельчак, облаченный в монашескую рясу, предложил Инне с ним сфотографироваться. Я навел на эту парочку фотоаппарат, как вдруг он быстро вытащил из-под рясы полуметровый резиновый фаллос, буквально «перечеркнув» им кадр, — в результате эта штукавина и стала центром композиции.

Некоторым индивидам не требовались никакие костюмы и маски — они сами были воплощением Вечного Карнавала Жизни. У облезлой стены одного палаццо я заметил трех старух в роскошных мехах. Внешность у них была совершенно убойная. Первая особа — седовласая, с красным агрессивным маникюром — накинула норковый полушубок на сугубо молодежное платье с аляповатым узором. Она раскуривала трубку и заходила от смеха, рассказывая что-то своей подагрической подруге. Та стояла, скрюченная всеми артритами и радикулитами, в мягких домашних тапочках и расстегнутой норковой шубе до пят, почесывала редкие кудряшки непонятого окраса и тоже прихихикивала. Третья дама, одетая в расшитые серебром черные брюки, манто из чернобурки, с лисьей шапкой на голове, держала за ручку продуктовую тележку и кокетливо стреляла глазами по сторонам, словно желая познакомиться с интересным мужчиной. «Венецианские проститутки на заслуженном отдыхе» — такой диагноз поставила Ольга этим трем грациям.

Но и меховые дивы тускнели перед *Матроной-В-Окне* — пожилой венецианкой, которую я случайно увидел в открытом окне. Она одиноко сидела в своей квартире на втором этаже палаццо — в тусклом платье болотного цвета, обрамленная старыми зелеными ставнями, в окружении усталой зелени на подоконнике. Слегка сдвинув брови, женщина с безучастным выражением лица наблюдала за течением карнавала. Мимо нее проплывали разноцветные воздушные шары; по ярко-зеленой воде скользили празднично изукрашенные лодки; внизу на подмостках смеялись, ссорились и непрерывно сменяли друг друга персонажи: Арлекины и Пьеро, пираты и феи, королевы и принцы. Однако ни сиюминутные настроения масок, ни царящая вокруг суета не вызывали у нее даже тени интереса. Она была выше Карнавала Жизни, не принимала участия в бесконечно разыгрываемом спектакле Вечного города и лишь бесстрастно наблюдала за ним со стороны. На мгновение мне почудилось, что *Матрона-В-Окне* — это и есть Венеция: старый, усталый и неподвижный город, что вынужден без конца созерцать одну и ту же веселую, но весьма поверхностную постановку, из которой он давным-давно вырос...

*«...В Венеции двуногие сходят с ума, покупая и меняя наряды по причинам не вполне практическим; их подначивает сам город. <...> Вот почему люди, едва попав сюда... оголтело атакуют прилавки. Окружающая красота такова, что*

*почти сразу возникает по-звериному смутное желание не отставать, держаться на уровне. <...> ...Город дает двуногим представление о наружном превосходстве, которого нет в их природных берлогах, в привычной им среде. Вот почему здесь нарасхват меха, наравне с замшей, шелком, льном, хлопком, любой тканью».*

Венеция — это большая барахолка, и была она барахолкой с самого начала. Выдающиеся произведения искусства и прочие духовные ценности всегда создавали здесь с одной целью: повыгоднее все это продать. Недаром Шекспир назвал свою комедию «Венецианский купец», а не, скажем, «Венецианский дож» или «Венецианский монах». Купец, торговец — ключевая фигура города, где главная цель существования — максимальная нажива. К слову сказать, ростовщик Шейлок из шекспировской комедии жил в еврейском гетто, а находится оно в районе Каннареджо, в пяти минутах ходьбы от нашего отеля. Так что мы имели возможность пройтись наяву по некогда презируемому венецианцами закрытому кварталу, где хаживали герои бессмертной пьесы Шекспира. И сегодня там на площади у фонтана сидят венецианские евреи, похожие на воронов благодаря своему черному одеянию и кипе на макушке. К счастью, изгоями их больше не считают и они не обязаны подчиняться унижительным правилам, что придумало для них государство в Средние века...

Как и столетия назад, Венеция бойко торгует предметами роскоши, рассчитанными прежде всего на туристов, поток коих из года в год лишь увеличивается. Надо отдать венецианским мастерам должное: они продолжают создавать великолепные вещи исключительного качества. На острове Мурано, родине стекла, по сей день производят вручную предметы интерьера (люстры, вазы, канделябры, зеркала) и ювелирные украшения — стоят они, правда, баснословных денег. Мы заглянули в выставочный зал, куда безденежная туристическая шваль вроде меня даже не заглядывает: уж слишком серьезные там ценники. Одна невероятная люстра, в струящихся подвесках которой, казалось, одновременно преломлялся свет Солнца, Луны и всех звезд во Вселенной, стоила восемнадцать тысяч евро — и это учитывая тридцатипроцентную скидку.

Остров Бурано на протяжении веков славится тончайшим кружевом. Развешанные по стенам магазинчиков ажурные салфетки, скатерти, полотенца и постельные комплекты — зрелище, безусловно, захватывающее. Да и сам остров — весьма колоритное местечко. Там каждый дом выкрашен в индивидуальный цвет: желтые, красные, зеленые, сиреневые здания тесно жмутся друг к другу, а их перевернутые двойники отражаются в зеркальной поверхности каналов. От этого город с думками в два-три этажа кажется сказочным и почти игрушечным. История гласит, что изначально Бурано был рыбацким поселком и здания уже тогда красили в разные цвета — якобы для того, чтобы рыбаки, возвращаясь из моря, могли отыскать свое жилище. Эта традиция закрепилась, и государство яростно принялось ее охранять, поэтому сегодняшние владельцы не имеют права перекрашивать собственные дома иначе как с письменного разрешения властей. Ничего не поделаешь, венецианские власти всегда любили доводить традиции до полного абсурда...

Принято считать, что вся Венеция — это театральные подмостки, поэтому многие постановщики популярной пьесы под названием «купля-продажа» выбирают для действия декорации поэффектнее. Иногда вещи продаются там, где их меньше всего ожидаешь увидеть.

На острове Торчелло мы заглянули в одну маленькую забегаловку. Там стояло всего четыре обеденных столика, зато стены были увешаны гобеленами с видами Сан-Марко и прочими достопримечательностями Вечного города. На полках стояли в ряд диванные подушки с вышитыми карнавальными масками, а на черных бархатных щитах красовались белоснежные салфетки из буранского кружева. Под товар

приспособили даже деревянную лестницу, что вела на второй этаж: на плечиках, прикрепленных к перилам, висели стильные вещи дамского гардероба с элегантными ценниками. Я не удержался, купил здесь небольшой гобелен «под старину» и мини-атюрную подушечку, на которой была вышита люрексом венецианская красавица.

Однако самой неожиданной торговой точкой оказалась бывшая церковь, знаменитая тем, что в ней венчали (а может, отпевали) Антонио Вивальди. Сегодня в храме идет бойкая торговля музыкальными инструментами и компакт-дисками с классическими хитами. Словно Божье благословение, из-под сводов церкви на людей льются звуки произведений Вивальди: гениальный венецианец знал, что за хорошую музыку не грех хорошо заплатить, поэтому наверняка одобрил бы торговлю музыкальными шедеврами в святых стенах...

\*\*\*

*«Она [вода] действительно похожа на нотные... листы, по которым играют без перерыва, которые прибывают в партитурах прилива, в тактовых чертах каналов, с бесчисленными облигато мостов... не говоря уже о скрипичных грифах гондол. В сущности, весь город, особенно ночью, напоминает гигантский оркестр, с тускло освещенными тюпитрами палатцо, с немолчным хором волн, с фальцетом звезды в зимнем небе».*

Несомненно, Венеция музыкальна в той же мере, в коей музыкально само море — породившее этот город, воспитавшее его и сообщившее ему ритм своего загадочного существования. Музыка начинается, едва мы ранним утром покидаем гостиничный дворик. Необыкновенно прозрачный воздух вибрирует от наполняющего его острого аромата моря, и эта радостная вибрация тут же передается мне, заставляя еле заметно дрожать изнутри в предчувствии новых ощущений от знакомства с городом. Эту дрожь можно сравнить разве что с колебанием гитарной струны, к которой едва прикасается рука музыканта: звук от касания еще не слышен, но уже можно уловить тень чуть изменившегося настроения, зарождение особой атмосферы.

Ты идешь по набережной и краем глаза ловишь неустанное движение воды в канале. Твое тело поневоле подхватывает расслабленный ритм этого движения, и ты незаметно для себя принимаешься раскачиваться изнутри в такт древней мелодии моря. К этому ритму внезапно присоединяется новый, рожденный гулким звуком далекого колокола. Твое безмятежное внутреннее раскачивание чуть сбивается, на миг замирает, но тут же настраивается на новый ритм и благодаря ему нарастает, становится шире — ты начинаешь вибрировать уже на волне целого города, где жизнь приходит в движение после ночного покоя.

Пройдя до конца пока что немногочисленную набережную Каннареджо, мы сворачиваем налево и попадаем в оживленную суету торговой улицы с овощными, фруктовыми и рыбными лотками. С головой окунаемся в музыку *венецианского диалекта*, вобравшего в себя и мягкий звук воды, что лениво плещется у набережной, и рокот волн, бьющихся о скалы в открытом море. Однородный ритм воды и колокольного звона, определявший до сего момента твое размеренное, неторопливое движение, поглощается аритмичным биением пульса этого места. Как невозможно расписать по часам и минутам ритм-партию морского прибоя, так же невозможно предвосхитить ритмический рисунок жизни торговой улицы: ее пульсация зарождается стихийно и меняется от такта к такту, превосходя по сложности самую изощренную джазовую импровизацию. Музыка рынка нельзя предугадать, но ее можно прочувствовать и безоговорочно отдаться ей, как отда-

ешься волшебным звукам сонаты. И тогда ты вольешься в этот непредсказуемый ритм, став одним из сотен его творцов.

Увлекаемые потоком венецианцев и туристов, мы добираемся до конца рынка с его какофонией звуков и сворачиваем на беспорядочно ответвленную улицу, где опять мало людей. Витающее в воздухе ощущение музыкальности постепенно уплотняется и наконец-то материализуется в звуках живой музыки. Это квинтет уличных скрипачей исполняет зажигательную мелодию явно средиземноморского происхождения. Мы с улыбкой проходим мимо, бросая в раскрытый футляр монеты в один-два евро: они со звоном ударяются о горсть уже лежащих на дне денег, обогащая пьесу новыми звуковыми нюансами.

Мы выходим к каналу на какой-то совсем узкой улочке — по обе стороны неотомимую воду сдавливают старые, усталые здания, повернутые к ней невзрачной задней частью. Своеобразный ритм здесь создают веревки с бельем, натянутые между домами на уровне верхних этажей: подобно тактовым чертам, они через определенные промежутки разделяют водный нотоносец на части. Видим, как из-за поворота выплывает черная лакированная гондола с двумя пассажирами. Непрерывно скользя в своей лодке по «нотоносу», гондольер словно считывает с него музыку, исполняет с листа неаполитанскую песню — разумеется, о море, солнце и любви. Здесь идеальное акустическое пространство: голос певца, отражаемый водой и стенами зданий, обладает необыкновенной полетностью и полнотой звучания.

*«Чего местные никогда не делают, это не катаются в гондолах. Начать с того, что катание в гондоле — дорогое удовольствие. По карману оно только туристу-иностранцу, причем состоятельному. <...> Разумеется, это не имеет ничего общего с распорядком жизни местных жителей, которые шастают и носятся по своим повседневным делам, не обращая внимания или даже страдая аллергией на окружающий блеск. Ближе всего к поездке на гондоле они подходят, переправляясь через Canal Grande или везя домой какую-нибудь громоздкую покупку — стиральную машину или тахту. Но ни паромщик, ни лодочник не запоят по такому поводу “O sole mio”».*

Инна считает, что побывать в Венеции и не прокатиться в гондоле по Гранд-Каналу — непростительная трата жизни. Сорокаминутная прогулка стоит недорого — восемьдесят евро, но ведь мы — иностранные туристы, поэтому делаем вид, что вполне состоятельны и катание нам по карману. Мы подходим к незанятому гондольеру, который о чем-то беседует с собратом по цеху, и предлагаем ему честно заработать на нас деньги. Немолодой лодочник, одетый в непременно полосатую майку и шляпу с красной лентой, радуется оказанному доверию и уверяет, что прогулка будет для нас незабываемой. Он помогает дамам забраться внутрь и усесться в мягкие, обитые красным бархатом кресла, а я с фотоаппаратом пристраиваюсь впереди. Гондольер взбирается на «пьедестал» позади всех, взмахивает веслом, словно смычком, и наша незабываемая прогулка начинается...

*«Мы вилили и петляли, как угорь, по молчаливому городу, нависшему над нами, пещеристому и пустому, похожему в этот поздний час на огромный... коралловый риф или на анфиладу необитаемых гротов. <...> ...Гондола шла абсолютно беззвучно. Было что-то отчетливо эротическое в беззвучном и бесследном ходе ее упругого тела по воде — похожем на скольжение руки по гладкой коже того, кого любишь. <...> Из-за нас гондола, наверно, стала чуть тяжелее, и вода на миг раздавалась под нами лишь затем, чтобы сразу сомкнуться. <...> В сущности, речь шла об эротизме не полов, а стихий, об идеальном союзе их одинаково лакированных поверхностей».*

Наш гондольер — весьма рослый парень, ему приходится нагибаться всякий раз, когда лодка проплывает под аркой моста. Но он не обращает на это неудобство никакого внимания и под тихий плеск воды без умолку рассказывает о зданиях, мимо которых мы проплываем. Почти каждое из них — исторический памятник: на большинстве домов висят таблички с упоминанием о том, что здесь жил и творил какой-нибудь знаменитый человек. Вот тут в уединении писал свои труды Ромен Роллан, здесь сочинял музыку Альбиниони, а в этом палаццо останавливался плейбой Казанова — непрестанная головная боль венецианских властей.

Пока мы скользим по узким каналам, стоит небывалая тишина. Она нарушается лишь певучим голосом гондольера и едва слышным аккомпанементом воды. Их гипнотический дуэт и непрестанно бликующая рябь на водной поверхности вводят меня в транс: я впадаю в оцепенение и даже не фотографирую — в руках и голове блаженная тяжесть. Наверняка именно так чувствовали себя путники, услышавшие далекое пение сирен.

Но вот мы огибаем угол очередного здания, и внезапно пространство перед глазами расширяется почти до безграничности — ощущение, будто раздвинули оперный занавес и на нас обрушилась иллюзорная безмерность сценической площадки, умело созданная задником и декорациями. Вместе с пространством на нас обрушивается и мощный гул этой оживленной части города: мы наконец-то медленно вливаемся в *Canale Grande* — главный канал Венеции! Наш триумфальный выход на большую сцену, нашу сольную партию торжественно подхватывает великолепный хор палаццо, музыкальное же сопровождение обеспечивает скрипичная группа лодок и контрапунктные басы пароходных гудков. Гондольер во весь голос запекает *“Torna a Surriento”*, а величественная лига моста Риальто до бесконечности протягивает в воздухе кульминационную ноту песни, соединяя звуковой дугой противоположные берега канала...

\*\*\*

*«Церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь; по крайней мере Madonna dell'Orto — не столько потому, что ночь — самое вероятное время душевных мук, сколько из-за прекрасной «Мадонны с младенцем» Беллини. Я хотел высидеть там и взглянуть на картину, на дюйм, отделяющий Ее левую ладонь от пятки Младенца. Этот дюйм — даже гораздо меньше! — и отделяет любовь от эротики. А может быть, это и есть высшая форма эротики. Но собор был закрыт...»*

Церкви в Венеции — это свет и бесконечная радость, торжество духа и праздник земной жизни. Огромные каменные здания соборов легки и полетны. Несмотря на свои исполинские размеры, они не давят на человека ни снаружи, ни изнутри, не действуют на него устрашающе, не призывают к аскетизму — они словно приглашают к совместному полету.

В венецианский храм стоит зайти хотя бы для того, чтобы полюбоваться на картины и стенные росписи старых мастеров — Тициана, Донателло, Тинторетто, Каналетто, Тьеполо. Их произведения на библейские сюжеты лучезарны и до бесконечности чувственны: человеческое тело в них возносится на пьедестал в той же мере, в коей воспеваются мир высших ценностей. Святые, вышедшие из-под кисти венецианских мастеров, столь же беспредельно эротичны, сколь и отрешены от мирской суеты. Такого откровенного слияния эротики и духовной устремленности в небеса больше, пожалуй, нигде не отыщешь. Так же как и благоухания живых лилий, что стоят в огромных вазах на полу столь любимой Бродским церкви Мадонна дель Орто.

Но это все соборы эпохи Возрождения и постренессансного периода. Совсем другое дело — церковь-музей Санта-Мария Ассунта на острове Торчелло. Она была построена в VII веке и представляет собой образчик византийского творчества. Без преувеличения скажу, что это самый впечатляющий кафедральный собор из тех, что я когда-либо видел. Здесь в одном пространстве вместился весь Ветхий Завет, причем без всяких излишеств: огромное изображение Марии с Младенцем — в одном конце зала, в центре — вырезанное из дерева и вознесенное под самый свод объемное Распятие. Иисус смотрится так, будто он просто висит на кресте в воздухе, посреди пустой Вселенной; когда обходишь Распятие со всех сторон, реально начинает кружиться голова. В противоположном конце помещения — исполинское изображение Страшного Суда: оно занимает всю стену и написано как бы сюжетными слоями. Простота и грандиозность исполнения сражает наповал. Этот собор я вряд ли когда-нибудь забуду...

*«...Вечером эти каменные узкие улочки похожи на проходы между стеллажами огромной пустой библиотеки, и с той же тишиной. Все «книжки» захлопнуты наглухо, и о чем они, догадываешься только по имени на корешке под дверным звонком. <...> Еще эти улицы похожи на внутренность гардероба: вся одежда из темной, облезлой ткани, но подкладка красна и отливает золотом».*

Возможно, венецианские улицы построены по принципу лабиринта, но может статься, что они строились без всякого принципа, росли причудливо и хаотично. В любом случае, в дебрях этого города случайному прохожему сориентироваться так же трудно, как в африканских джунглях. Венеция любит играть с человеком в прятки, особенно в темное время суток, когда город таинственно преображается и даже знакомый район может показаться чужим. В потемках можно долго искать место, которое, по твоему твердому убеждению, находится совсем рядом. Город словно наводит морок: ты ходишь по замкнутому кругу и возвращаешься туда, откуда начинал поиски. Однако потом, позабавившись вволю, Венеция решает тебя отпустить, и на глаза вдруг попадает стрелка с указателем искомого места: она возникает как бы сама собой на здании, вокруг которого ты целый час кружил.

Именно так в последний вечер нашего пребывания в Венеции перед нами неожиданно возник указатель с надписью «Театр Ла Фениче». До этого, как ни пыталась Инна, лучше всех ориентировавшаяся в городе, отыскать знаменитый оперный театр, у нее ничего не получалось. И вдруг напоследок — такой подарок судьбы. Поздно зато, правда, подарочек подоспел: денег у нас уже оставалось кот наплакал, а билеты на оперу, судя по запросам в Интернете, стоили от двухсот евро и выше. Решили, однако, хотя бы полюбоваться на сам театр: он не единожды сгорал дотла и каждый раз восставал из пепла, подобно птице Феникс — не даром же у него такое название.

Следуя указателю, свернули за угол — и вот оно, роскошное белокаменное здание театра. Перед ним, как полагается, дамы в шелках и бриллиантах и джентльмены в смокингах. Судя по афише, в тот вечер давали «Севильского цирюльника», и публика потихоньку подтягивалась на оперу. Полюбовавшись на здание снаружи, мы решили, что зайдем на минутку в фойе, глянем, как выглядит изнутри настоящий оперный театр, — а ось нас не прогонят в наших походных куртках и убитых кроссовках. Зашли — красота невообразимая, одна парадная лестница с золотыми зеркалами чего стоит. А ноги почему-то сами идут к кассам — надо же убедиться, что билетов либо вообще нет, либо они нам не по карману. И что бы вы думали: оказалось, и билеты в продаже имеются, и стоят они всего тридцать евро — ну, понятно, что не в партере, а в четвертом ярусе, но какая разница? И никому нет

дела до нашего босяцкого «прикида», здесь рады любому зрителю — лишь бы он был платежеспособным.

В тот вечер я слушал оперу первый раз в жизни — дай бог, чтобы он не оказался последним. Нет нужды говорить, что и оркестр играл выше всяких похвал, и Фигаро корейских кровей удался на славу, и блеск самого театра был ослепительным. Но в памяти у меня наверняка останется не весь этот антураж, а удивительная история о том, как сама Венеция привела нас послушать оперу, когда, казалось, этой затее уже вообще не суждено было осуществиться...

*«...Я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи... то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить, а на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и не сходя с места вышибу себе мозги, не сумею умереть в Венеции от естественных причин».*

Мы покидали Венецию глубокой ночью. Стояла крошечная тьма, и лишь фонарь над входом в гостиницу выхватывал из почти осязаемого мрака причал, куда должно было подойти водное такси. Этим такси оказалась большая черная лодка, в закрытой утробе которой стояли по сторонам элегантные кожаные диваны со стегаными спинками. Поневоле вспомнилось, как герой рассказа «Смерть в Венеции» сравнивал черную гондолу, доставившую его в город, с гробом. Я поежился и, садясь в такси, постарался прогнать мимолетную литературную ассоциацию, так не вовремя пришедшую на ум.

Читатель уже понимает, что мое повествование близится к завершению, и поэтому может с полным основанием спросить: «Какое же слово, замененное многоточием, Вы, уважаемый автор, подразумевали в своем названии? Может быть, Вы решили перефразировать известное изречение Ильи Эренбурга о Париже, последнее слово в котором — *умереть?*»

Что ж, такая ироничная версия вполне имеет право на существование: стоит хотя бы вспомнить, как герои Томаса Манна и Генри Джеймса прибывают в Венецию, чтобы обрести там Вечный покой. К этому же стремится и рассказчик в эссе Бродского. По каким-то причинам город Вечного Карнавала Жизни заставлял сотни людей (равно как и десятки литературных персонажей) приезжать сюда именно в поисках смерти. Бродский считает, что виной тому — меланхолия здешних зим и сырые туманы, пронизывающие все твое естество. Но это мнение поэта. Я же имел в виду совсем другое: однажды увидев Венецию, вы влюбитесь в нее раз и навсегда и будете бесконечно стремиться попасть сюда снова и снова, снова и снова ...

*«Луна, исключительно высокая, словно какое-то умопомрачительно высокое «си», перечеркнутая нотной линейкой облака, почти не освещала водную гладь...» «Это было необычное ощущение: двигаться по тому, поверх чего привык смотреть, — по каналам; как будто прибавилось еще одно измерение».*

